

МИРА СОЙДАН

A romantic couple stands on a stone balcony, looking out over a vast city at night. The woman, on the left, wears a red headscarf and a dark dress. The man, on the right, is in a dark shirt and trousers. They are silhouetted against the bright lights of the city below. The sky is dark and filled with stars, with the Milky Way galaxy clearly visible arching across the upper half of the frame. To the right, the stone architecture of the balcony and a distant city tower are visible, illuminated by warm, golden lights. In the bottom left corner, there is a small branch with green leaves and several ripe, red pomegranates.

Невеста
каменного города

Мардинские ночи • книга первая

Мира Сойдан

Невеста каменного города

«Автор»

2026

Сойдан М.

Невеста каменного города / М. Сойдан — «Автор», 2026

Её брат сбил на ночной трассе внука могущественного клана. Чтобы спасти его от кровной мести, Хазал соглашается на старинный обычай: выйти замуж за мужчину из семьи погибшего. Барыш Шахиноглу ненавидит этот брак и её саму. Каменный особняк над Месопотамской равниной встречает её молчанием, а в закрытом крыле, куда ей запрещено входить, спрятана правда, за которую уже однажды убили. Роман о чести, гордости и любви, которая растёт медленно, как трещина в камне.

© Сойдан М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кровь	6
Глава 2. Конак	11
Глава 3. Камень	16
Глава 4. Хлеб	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Мира Сойдан

Невеста каменного города

Мира Сойдан

«Невеста каменного города»

Серия «Мардинские ночи». Книга первая

*** * ***

Глава 1. Кровь

В Измире в ту ночь дул имбат, ветер с моря. Он трепал бельё на соседском балконе и пах солью и водорослями, а Хазал сидела на подоконнике с планшетом на коленях и третий час подряд рисовала один и тот же карниз.

Старый греческий дом в Алсанджаке. Его хотели снести, она хотела его спасти. На чертеже карниз выходил ровным и мёртвым. В жизни он был кривым, щербатым, с птичьим гнездом в углу, и Хазал любила его именно таким.

Телефон зажужжал на столе в 2:41.

Номер начинался с 0482. Она не знала этого кода. Посмотрела на экран, пока он не погас, и почему-то вспомнила, что Озан не звонил с воскресенья.

Телефон зажужжал снова.

— Алло.

— Хазал Эрен? — Мужской голос, немолодой, с мягким южным выговором. Он растягивал гласные, будто пробовал каждое слово на вкус. — Вы сестра Озана?

— Да. Что с ним?

— Меня зовут Сулейман. Озан работает у меня в пансионе, в Мардине. Дочка, вы только не пугайтесь.

От этих слов ей стало холодно в тёплой комнате.

— Он живой?

— Живой. Живой, слава Аллаху. Он в больнице. Авария на трассе, внизу, под городом. — Сулейман помолчал, и в трубке было слышно, как где-то рядом с ним плачет женщина. Плач был протяжный, на одной ноте, похожий на песню. — Дочка, приезжайте. Приезжайте быстро. Тут... тут плохо.

— Насколько плохо?

— Погиб парень. Мотоциклист. — Ещё одна пауза. — Он из Шахиноглу.

Это имя ей ничего не говорило. Но Сулейман произнёс его так, как произносят название болезни.

* * *

Мама проснулась сама. Стояла в дверях спальни в ночной рубашке, держась за косяк, и Хазал видела, как у неё белеют пальцы.

— Озан?

— Он в больнице, анне. Живой. Нога, голова, я ещё не знаю. Я полечу утром.

— Где?

— В Мардине.

Эмине-ханым ничего не сказала. Она медленно опустилась на табуретку у двери, и Хазал впервые в жизни увидела, как у матери меняется лицо: оно стало серым и старым, совсем чужим.

— Не надо, — сказала мама. — Не ездь туда.

— Мама, там Озан.

— Я знаю. — Эмине-ханым закрыла глаза. — Я знаю, кызым. Прости. Иди собирайся.

Хазал принесла ей воды и таблетки от давления. Мама пила маленькими глотками и смотрела в окно, на тёмное море. Потом спросила, будто между прочим, тихо:

— Чей был мальчик?

— Сулейман-бей сказал, Шахиноглу.

Стакан стукнул о блюдо. Мама поставила его очень аккуратно, двумя руками, и больше ничего не спросила.

* * *

Самолёт через Стамбул сел в Мардине в полдень. Хазал вышла на трап и задохнулась. Жар ударил в лицо, плотный и сухой, как из открытой духовки. Небо было белым от зноя. Пахло нагретым асфальтом, пылью и чем-то горьким, травяным.

Таксист, уса́тый, в клетчатой рубашке, услышал название больницы и кивнул. Услышал фамилию, которую она назвала, чтобы спросить дорогу к реанимации, и перестал кивать.

— Вы им родня? — спросил он по-турецки, глядя в зеркало.

— Нет. Мой брат был за рулём.

Он долго молчал. Потом сделал радио тише, хотя оно и так играло еле слышно.

— Да хранит вас Аллах, абла.

Город появился за поворотом и сразу занял всё окно. Мардин стоял на горе, весь из камня цвета мёда и сухого хлеба, дом над домом, крыша над крышей, как ступени огромной лестницы. Минареты торчали между ними тонкими свечками. А ниже, до самого края земли, лежала равнина. Плоская, рыжая, в дымке. Она уходила так далеко, что Хазал не могла понять, где кончается земля и начинается небо.

Где-то там, внизу, на этой равнине, этой ночью разбился мальчик.

* * *

Больница была новая, белая, с кондиционерами, которые гудели и не справлялись. В коридоре третьего этажа стояли мужчины.

Их было много. Двадцать, может, тридцать. В чёрных рубашках, в тёмных брюках, небритые. Они стояли вдоль стен и у окон, и курили на лестнице, хотя курить было нельзя, и никто им не делал замечаний. Когда Хазал вышла из лифта, разговоры стихли. Она шла по коридору и чувствовала их взгляды на себе, на джинсах, на распущенных волосах, на голых руках. Взгляды были тяжёлые и горячие, как камни на солнце.

В конце коридора, у окна, сидели женщины. Они раскачивались на пластиковых стульях, и одна из них, полная, в чёрном платке, пела. Хазал не понимала слов. Язык был не турецкий, гортанный и мягкий одновременно. Женщина пела о ком-то, кого больше нет, она поняла это без перевода.

У двери палаты сидел жандарм с автоматом.

— Документы.

Она протянула паспорт. Жандарм посмотрел, вернул и чуть отодвинулся, пропуская её к стеклу.

Озан лежал на кровати, весь в трубках. Голова забинтована, левая нога в гипсе от бедра, лицо в синяках и ссадинах. Он спал или был без сознания. Ему было девятнадцать, а на этой кровати он казался ей двенадцатилетним, тем самым мальчишкой, который боялся темноты и приходил к ней спать, волоча за собой одеяло.

Хазал прижала ладонь к стеклу. Оно было холодным.

— Вы Хазал?

Она обернулась. Рядом стоял старик, невысокий, круглолицый, с седыми усами и чётками в руке. Глаза у него были красные.

— Сулейман-бей.

— Дочка. — Он взял её руку в обе свои, сухие и тёплые. — Врачи говорят, будет жить. Нога срастётся. Голова тоже, иншаллах. Сейчас ему дают спать.

— Что случилось?

Сулейман оглянулся на мужчин в коридоре и понизил голос.

— Он ехал ночью из Нусайбина. Возил туристов на развалины, на моей машине. Возвращался один. Мотоцикл выехал... или он выехал... Никто не знает. Мальчишке, Йусуфу, было двадцать лет. Младший внук Шахиноглу. Его бабка сейчас в конаке, весь город туда идёт с соболезнованиями.

— Полиция?

— Полиция приходила. — Сулейман помял чётки. — Будет следствие, будет суд. Но это бумага, дочка. А есть ещё другое.

— Что другое?

Он не ответил. Посмотрел через стекло на Озана и тихо сказал что-то на арабском, коротко, как молитву.

* * *

Другое ей объяснили к вечеру.

Сулейман привёл её в свой пансион в старом городе, усадил во дворе под виноградной лозой, налил чаю в маленький стаканчик-тюльпан. Чай был тёмный, как гранатовый сок, и обжигал пальцы через стекло. Внизу, за стеной, город уходил ступенями вниз, к равнине, и солнце садилось в неё, огромное и красное.

— Кан даваси, — сказал Сулейман. — Кровная месть. Ты из Измира, ты не знаешь. У нас это ещё живёт. Не везде, не у всех. Но Шахиноглу старый род. Большой. У них земли, у них люди, у них слово. Их мальчик мёртв. Они не будут ждать суда.

— Озан в больнице. Под охраной.

— Сегодня в больнице. Потом будет тюрьма. Потом он выйдет. — Сулейман смотрел в свой стакан. — Или не выйдет. В тюрьме тоже есть люди. И у тебя в Измире есть мать, а у неё есть дом и дверь.

Хазал поставила стакан на стол. Чай качнулся и пролился на клеёнку, и красное пятно поползло к краю.

— Это же... Мы живём в двадцать первом веке.

— Камень живёт дольше века, дочка. — Он погладил стену рядом с собой, широкой ладонью, как гладят лошадь. — Этому дому четыреста лет. Он помнит, как было. И люди здесь помнят.

Они помолчали. Звонко, на весь город, запел азан. С другого холма ему ответил колокол, низкий и медленный, и звуки смешались над крышами, как дым двух очагов.

— Есть один старый путь, — сказал Сулейман и сразу пожалел, она увидела это по его лицу. — Нет. Я не должен был.

— Говорите.

— Не надо тебе это слушать.

— Сулейман-бей. Это мой брат.

Он вздохнул так тяжело, что чётки в его руке звякнули.

— Раньше, когда одна семья проливала кровь другой, чтобы остановить месть, отдавали девушку. Из семьи виновного в семью пострадавшего. В жёны. Называют по-разному. Кто бер-деле, кто «кровь за кровь, жизнь за жизнь». Девушка входит в дом, становится их, рождает им детей. Кровь прощена. Вражды нет.

Хазал смотрела на него и ждала, что он засмеётся.

Он не засмеялся.

— Это давно запрещено, — сказал он. — Это стыд. Я сам не знаю, зачем рассказал. Старый дурак.

Хазал поднялась и подошла к стене. Положила ладонь на камень. Он ещё хранил дневной жар, шершавый, мягкий от времени, весь в мелких кавернах, как хлебная корка. Где-то под пальцами чувствовалась тонкая трещина, и Хазал машинально провела по ней ногтем, до самого конца.

— Где сейчас эти старейшины?

* * *

Конак Шахиноглу стоял выше всех в городе, у самой скалы. Хазал увидела только стену, огромную, медовую, глухую, с одной резной дверью из тёмного дерева. Над дверью висел каменный орёл со стёртым клювом. У входа стояли машины, чёрные, пыльные, и мужчины.

Сулейман дал ей свой платок, большой, серый, и она завязала волосы, не споря. Пальцы не слушались.

— Я пойду с тобой, — сказал он. — Говорить буду я. Ты молчи. Прошу тебя, дочка, молчи.

Двор оказался таким большим, что у неё закружилась голова. Галереи с арками в два этажа. Посредине фонтан, восьмигранный, со струйкой воды, которая падала в чашу с тихим звуком. Рядом с фонтаном росло гранатовое дерево. Старое, с перекрученным стволом, с тяжёлыми ветками, на которых висели плоды, ещё зеленоватые, с красными боками.

Под деревом, на низких диванах, сидели старики. Пятеро или шестеро. В пиджаках поверх рубашек, в кепках, с чётками. Один был в белой чалме, имам. А в середине, на самом высоком месте, сидела женщина.

Ей было за семьдесят. Чёрное платье до пят, чёрный платок, туго повязанный под подбородком. Лицо тёмное, в глубоких морщинах, как русло высохшей реки. В руке чётки из чёрного янтаря, крупные, тёплые даже на вид. Она перебирала их не глядя, и каждая бусина падала с тихим щелчком.

Хазал не надо было объяснять, кто здесь решает.

У стен, в тени галереи, стояли мужчины помоложе. Один из них отделился от остальных и подошёл. Высокий, лет тридцати пяти, с аккуратной бородкой и мягкими глазами. Он единственный здесь улыбался, печально и тепло.

— Сулейман-амджа. — Он поцеловал старику руку и приложил её ко лбу. Потом посмотрел на Хазал. — А вы, значит, сестра. Сядьте, ханым, вы еле стоите. Я принесу воды.

— Джихан, — тихо сказал Сулейман, когда он отошёл. — Двоюродный брат. Хороший человек.

Джихан вернулся со стаканом воды и подал его Хазал двумя руками. Она выпила залпом. Вода была ледяная и пахла камнем.

Говорили долго. По-турецки, потом по-курдски, потом снова по-турецки. Сулейман просил, кланялся, прижимал руку к сердцу. Говорил о том, что мальчик из Измира не местный, что это была беда, а не умысел, что Аллах видит всё. Старики слушали, качали головами. Один, с белыми усами, ответил резко, и Хазал поняла слово «кан». Кровь.

Старуха молчала. Чётки щёлкали.

Хазал смотрела на гранат. На один плод, у самой нижней ветки. Он треснул на солнце, и в трещине блестели зёрна, тёмные, влажные.

— У них нет денег, — сказал наконец старик с белыми усами. — У них нет земли. У них нет мужчин. Отец давно умер. Что они могут дать за нашего мальчика?

— Есть старый обычай, — сказал имам осторожно, будто ступал по льду. — Его нельзя называть при властях. Но мы не при властях.

Мужчины у стен зашевелились. Старуха подняла глаза.

— У них нет девушки, — сказала она. Голос был низкий, хриплый, и в нём не было вопроса.

Сулейман открыл рот. И закрыл. Посмотрел на Хазал умоляюще.

Хазал встала.

Диван скрипнул. Все головы повернулись к ней. Она чувствовала, как платок сползает с волос, и не стала его поправлять. Ноги дрожали. Голос, когда она заговорила, оказался чужим и очень ровным.

— Я согласна.

Тишина стала такой, что Хазал слышала, как падает вода в фонтане. Капля, капля.

— Сядь, девочка, — сказал старик с белыми усами. — Ты не знаешь, что говоришь.

— Знаю. — Она смотрела на старуху. — Вы хотите крови моего брата. Я пришла вместо него. Делайте со мной что хотите. Его не трогайте. И маму.

Чётки замолчали.

Старуха смотрела на неё долго. Глаза у неё были светлые, почти жёлтые, как у хищной птицы, и Хазал казалось, что этот взгляд разрезает её, как нож разрезает хлеб, до самой мякоти.

Потом старики заговорили все разом, тихо, наклоняясь друг к другу. Хазал разобрала обрывки. «Кому?» «Нельзя же...» «Рамазан вдовец, у него трое...» «Ему пятьдесят». «Позор». «Чья кровь, того и дом». Кто-то засмеялся коротко, зло. Джихан у стены перестал улыбаться и смотрел на неё так внимательно, что ей захотелось закрыться руками.

Она подумала: пусть вдовец. Пусть пятьдесят. Пусть трое детей. Озан будет жить.

Старуха подняла руку. Все замолчали сразу, будто им перерезали голос.

— Йусуф был мой внук, — сказала она. — Моя кровь. Значит, и цену беру я. В мой дом. Моему старшему.

Она повернула голову к галерее, к самой тёмной арке.

— Барыш.

Хазал проследила за её взглядом.

Он стоял в тени, прислонившись плечом к колонне. Она не заметила его раньше, и теперь не понимала, как могла не заметить. Высокий, в чёрной рубашке с закатанными рукавами. Тёмная щетина. Тёмные волосы, давно не стриженные. Руки скрещены на груди, и на правом запястье белела свежая повязка.

Всё это время он не сказал ни слова.

Он оттолкнулся от колонны и сделал шаг из тени, на свет. Солнце легло ему на лицо. Хазал увидела его глаза, чёрные, сухие, без единой слезинки.

В них была такая ненависть, что ей стало трудно дышать.

Глава 2. Конак

Свадьбу назначили на четверг, через три дня после похорон.

Хазал узнала об этом от Сулеймана. Он пришёл к ней в комнату пансиона утром, сел на край стула и долго молчал, глядя на свои ботинки. Потом сказал, что Шахиноглу согласились. Что старейшины дали слово. Что жалобу в суде семья заберёт, а прокурору скажут: простили, договорились, Аллах свидетель. Что Озана никто не тронет. Ни в больнице, ни потом.

— А я? — спросила Хазал.

Сулейман поднял на неё глаза.

— Ты будешь невестка Шахиноглу, дочка. Жена Барыша. Будущего аги.

— Это хорошо или плохо?

Он не ответил. Встал, потрепал её по плечу, как ребёнка, и ушёл, забыв на стуле свои чётки.

* * *

Маме она позвонила вечером, с крыши пансиона, где сушилось бельё и пахло мылом с маслом фисташки. Внизу горела равнина. Тысячи огоньков рассыпались по тёмной земле до самого горизонта, и Хазал никак не могла привыкнуть, что звёзды здесь не только над головой.

Она сказала всё сразу. Без подготовки. Иначе бы не смогла.

Мама молчала так долго, что Хазал решила: связь пропала.

— Анне?

— Я здесь. — Голос у мамы был сухой, ровный. — Ты подписала что-нибудь?

— Только у имама будет. Ничего официального. Мама, это ничего не значит. Это на время. Пока Озан не выйдет. Потом я...

— Хазал. — Мама редко звала её так, полным именем, без «кызым». — В том доме ничего не бывает на время.

Хазал прижала телефон к уху. Ветер шевелил простыни на верёвке, и они хлопали, как паруса.

— Откуда ты знаешь?

Снова тишина.

— Там во дворе гранат? — спросила мама. — Старый, у фонтана?

— Да. Откуда...

— Все мардинские дворы с гранатом. — Мама засмеялась, коротко и неправильно. — Я же говорила тебе, я жила там, когда была девочкой. Недолго. Ничего не помню. Ты будешь мне звонить?

— Каждый вечер.

— Каждый вечер, — повторила мама. — Обещай.

— Обещаю.

Мама отключилась первой. Хазал ещё долго стояла на крыше и смотрела на огни внизу. Где-то среди них, в темноте, была трасса. И место, где всё случилось.

* * *

Платье ей принесли в четверг утром. Тёмно-синее, длинное, с закрытыми рукавами. Простое, как форма. Принесла девочка лет семнадцати, худенькая, с острым подбородком и огромными глазами. Она поставила свёрток на кровать, оглядела Хазал с ног до головы, задержалась на джинсах и на волосах.

— Ты красивая, — сказала она с удивлением, будто ожидала увидеть кого-то другого.

— Я Нурхан. Его сестра.

— Хазал.

— Я знаю. Весь город знает. — Нурхан развязала свёрток и достала оттуда платок, сложенный в несколько раз. Шёлк. Красный, тёмный, как зёрна граната. По краю шла вышивка, маленькие золотые плоды на тонких веточках. — Бабушка велела надеть. У нас невеста в красном. Без этого нельзя.

Хазал взяла платок. Шёлк был старый, мягкий, чуть выцветший на сгибах. Пах сундуком, лавандой и ещё чем-то, едва уловимым, сладким.

— Чей он?

Нурхан пожала плечами слишком быстро.

— Из сундука. Там много всего. — Она отвернулась к окну. — Музыки не будет. И гостей мало. Ты не думай, это не из-за тебя. То есть из-за тебя, но... У нас траур. Йусуф... — Девочка замолчала, и острый подбородок дрогнул. — Он мне брат был. Двоюродный. Он мне книжки возил из Диярбакыра, тайком от бабушки.

Хазал не знала, что сказать. Сказала единственное, что было правдой:

— Мне очень жаль.

Нурхан посмотрела на неё, внимательно, по-взрослому.

— Ты правда за него пошла? Сама? Вышла и сказала?

— Да.

— Я бы не смогла, — сказала девочка. И вдруг улыбнулась, криво, сквозь слёзы. — Или смогла бы. Если бы за Барыша.

* * *

Свадьбы не было.

Был двор конака, в котором стояли те же старики, что и три дня назад. Был имам в белой чалме. Были женщины на галерее второго этажа, они смотрели вниз через резные решётки, и Хазал слышала их шёпот, похожий на шорох сухих листьев. Был фонтан. Был гранат.

И был он.

Барыш стоял у фонтана, в той же чёрной рубашке или в такой же. Чисто выбритый. Повязку на запястье сменили, теперь она была узкой. Он не повернул головы, когда её подвели. Смотрел на воду в чаше.

Хазал встала рядом. Между ними было расстояние в два шага. Никто не попросил их подойти ближе.

Имам читал долго, по-арабски, нараспев. Хазал не понимала слов. Она смотрела на трещину в каменном бортике фонтана, длинную, старую, кто-то когда-то замазал её серым цементом, и цемент теперь отваливался, обнажая рану в камне. Она думала: надо было расчистить и заполнить известью с каменной крошкой. Надо было лечить. Она думала об этом, чтобы не думать ни о чём другом.

— Хазал, дочь Мехмета, — сказал имам по-турецки. — Согласна ли ты взять в мужа Барыша, сына Селима?

Платок на голове был тяжёлым, как мокрый.

— Да.

— Барыш, сын Селима. Согласен ли ты взять в жёны Хазал, дочь Мехмета?

Он молчал.

Вода падала в чашу фонтана. Шорох на галерее стих. Хазал не смотрела на него, но чувствовала его молчание кожей, всей левой стороной тела, как чувствуют жар от печи.

Молчание длилось. Один из стариков кашлянул.

— Согласен, — сказал Барыш. Тихо и очень отчётливо. Будто плюнул.

* * *

После имама полагалось целовать руки старшим. Хазал знала это, мама учила их с Озаном в детстве: подходишь, берёшь руку, целуешь, прикладываешь ко лбу. Она подошла к старухе первой.

Хатидже-ана сидела на том же диване под гранатом. Те же чёрные чётки. Хазал наклонилась и протянула руку.

Старуха не шевельнулась. Её ладонь осталась лежать на колене, на чёрной ткани, тёмная, вся в старых венах. Чётки щёлкнули. Раз. Другой.

Хазал выпрямилась. Лицо горело. Она слышала, как на галерее кто-то хихикнул, коротко, и кто-то шикнул.

— Иди в дом, — сказала Хатидже-ана, не глядя на неё. — Тебе покажут.

Её повели вверх. По каменной лестнице, ступени которой были стёрты посередине тысячами шагов, так что в каждой стояла неглубокая чаша. По галерее, мимо женщин, которые расступались перед ней и шептали ей в спину. Хазал разбирала отдельные слова. «Измирская». «Без отца». «Кровь убийцы». «Посмотрим, сколько продержится».

Последнее сказала молодая женщина в зелёном платке, громко, нарочно, глядя прямо на неё. Хазал посмотрела в ответ. Женщина отвела глаза первой.

У одной из арок стоял Джихан. Он кивнул ей, мягко, ободряюще, как старой знакомой, и это было так неожиданно среди всех этих лиц, что у Хазал защемило в глазах.

В конце галереи, у последней двери, стояла ещё одна женщина. Она не шептала. Она ничего не говорила вообще.

Ей было лет сорок пять. Высокая, прямая, в чёрном с головы до ног. Лицо узкое, красивое, высохшее за три дня так, что скулы проступили под кожей острыми углами. Глаза запавшие, сухие и тёмные, с красными веками. Она держала в руках мужскую кепку, старую, клетчатую, и мяла её пальцами, не замечая.

Хазал поняла, кто это, ещё до того, как кто-то за спиной прошептал: «Зехра. Мать».

Женщины замерли. Хазал остановилась. Между ними было три шага каменного пола.

Зехра смотрела на неё долго. Потом медленно подняла кепку к лицу и прижала её к губам, как прижимают хлеб, прежде чем поцеловать. И отвернулась. Ушла в свою дверь, не сказав ни слова. Дверь закрылась тихо, без стука.

Это было страшнее, чем если бы она закричала.

* * *

Комната была большой и почти пустой. Каменные стены, выбеленные известью. Глубокие окна с резными ставнями, одно смотрело во двор, на гранат, другое наружу, на равнину. Широкая кровать с вышитым покрывалом. Сундук, обитый медью. Ковёр на полу, старый, красно-синий, протёртый до основы у двери. Ниша в стене, в ней медный кувшин.

Больше ничего. Ни фотографий, ни книг, ни одежды. Будто здесь никто не жил.

Её чемодан, маленький, измирский, с наклейкой авиакомпании, стоял у сундука и выглядел здесь глупо.

Хазал сняла платок. Сложила его, медленно, по старым сгибам. Положила на сундук. Подошла к окну, которое смотрело на равнину, и открыла ставни.

Солнце садилось. Земля внизу стала красной, потом фиолетовой. Где-то лаяла собака. Где-то пахло дымом и тмином, кто-то пёк хлеб. Каменный подоконник был широкий, как скамья, и тёплый. Хазал положила на него ладони и почувствовала: камень дышит. Отдаёт дневное тепло медленно, как отдаёт его спящий человек.

В дверь постучали, когда небо стало совсем тёмным. Нурхан вошла боком, с подносом. На подносе лежала лепёшка, ещё тёплая, с тёмными пятнами от углей, миска густого айрана, сыр с зеленью и половинка граната, уже разломленная, так что зёрна блестели в свете лампы.

— Ты же ничего не ела, — сказала девочка. — Я видела.

— Спасибо.

Нурхан поставила поднос на сундук и села на край кровати, поджав ноги. Похоже, уходить она не собиралась.

— Ты не бойся его, — сказала она. — Он не злой. Он просто... — Она поискала слово и не нашла. — Он такой с тех пор, как мама. Мне было пять. Я её почти не помню. Только запах. И как она пела.

Хазал отломил кусок лепёшки. Хлеб был горячий внутри, упругий, пах дымом. Она вдруг поняла, что голодна до дрожи.

— А где она жила? Твоя мама?

Нурхан кивнула на стену, на восток.

— Там. В том крыле. Оно закрыто. Двенадцать лет никто не входит, ключ у бабушки. Там крыша течёт и стены трескаются, дядя Махмут каждую весну ругается. А бабушка говорит: пусть падает. — Девочка помолчала. — Я иногда хожу к той двери. Просто стою. Там пахнет пылью и голубями.

Она ушла, оставив поднос. Хазал съела всё, до последнего зерна граната. Зёрна лопались на зубах, кислые и сладкие сразу, и сок был тёмный, как вино, и пачкал пальцы.

Потом она снова сидела на подоконнике и смотрела, как один за другим гаснут голоса в доме.

Он пришёл поздно, далеко за полночь.

Хазал услышала шаги на галерее и встала. Сердце колотилось так, что было больно в горле. Дверь открылась. Барыш вошёл, не зажигая света, и закрыл дверь за собой.

Она стояла у окна. Луна светила ему в спину, и Хазал видела только его силуэт, широкие плечи, опущенные руки. Он смотрел на неё. Она не видела его лица, но знала, что он смотрит.

Он прошёл к кровати. Хазал вжалась спиной в холодную стену и ничего не могла с собой сделать. Он взял одну из подушек, большую, в вышитой наволочке. Снял с сундука свёрнутое шерстяное одеяло. Бросил то и другое на ковёр у второго окна, у того, что смотрело на двор.

Потом выпрямился и впервые заговорил с ней. Голос был низкий, хрипловатый, и каждое слово он ставил, как ставят камень в кладку.

— Ты здесь гостя. Пока я не решу иначе.

Он лёг на пол, на ковёр, спиной к ней, лицом к ставням. И больше не двигался.

Хазал долго стояла у стены. Потом подошла к кровати и легла, не раздеваясь, на самый край, поверх покрывала. Камень стены был рядом, у самого плеча. Она положила на него руку, чтобы было за что держаться.

Она не думала, что уснёт. Уснула.

* * *

Проснулась она от тишины.

Было ещё темно. Луна передвинулась и теперь светила в другое окно, прямо на ковёр у двери. Подушка лежала там, где он её бросил. Одеяло было откинута.

Его не было.

Хазал села на кровати. Прислушалась. Дом спал. Где-то далеко внизу, в городе, прокричал петух, рано, бестолково. Ветер шевельнул ставню.

И тогда она услышала шаги.

Над головой. Медленные, тяжёлые. Кто-то ходил по крыше, туда и обратно, от края до края. Остановился. Пошёл снова.

Хазал встала. Ковёр был холодный под босыми ногами. Она вышла на галерею, тёмную, пустую, и нашла узкую каменную лестницу в углу, которая вела наверх. Ступени были крутые, высокие. Она поднималась, держась рукой за стену, и камень под пальцами был сырой от ночной прохлады.

Наверху оказалась дверца, низкая, приоткрытая. Хазал не стала её толкать. Только заглянула в щель.

Крыша была плоской и огромной, вся в лунном свете, белая, как застеленная простынёй. Над ней висело небо, такое густое от звёзд, каких она никогда не видела в Измире, где море и огни съедали ночь. Здесь звёзд было больше, чем темноты.

Он стоял у самого края.

Там, где кончалась крыша, начиналась скала. А под скалой обрыв, прямой, отвесный, и далеко-далеко внизу, в сотнях метров, равнина со своими огнями.

Барыш забрался на низкий парапет и стоял на нём во весь рост. Босой, в одной рубашке, которую трепал ветер. Руки опущены. Носки ног почти над пустотой.

Он смотрел вниз, на равнину. Совсем не шевелясь.

Хазал зажала рот ладонью, чтобы не закричать.

Глава 3. Камень

Он слышал, как скрипнула дверца на лестнице.

Тихо, еле-еле. Дверцу никто не смазывал лет двадцать, она скрипела под любой рукой, даже под ветром. Барыш не обернулся. Стоял, как стоял, на краю парапета, и смотрел вниз.

Потом услышал дыхание. Короткое, сбитое. И босые шаги вниз по ступеням, быстрые, неровные. Кто-то бежал по лестнице, держась за стену, и один раз чуть не упал.

Девчонка.

Он медленно сошёл с парапета на крышу. Камень под ногами был холодный и влажный от росы. Ветер дул снизу, с равнины, и пах сухой травой и далёким дымом.

Она решила, что он собирается прыгнуть. Пусть. Пусть так думает. Пусть испугается и уедет завтра же, первым автобусом в Диярбакыр, а оттуда самолётом к своему морю.

Он не собирался прыгать. Он ни разу не собирался, ни в девятнадцать лет, ни сейчас. Он просто стоял там, где ближе всего. Оттуда, с края, в ясную ночь было видно место. Изгиб трассы на Кызылтепе, одинокий фонарь у заправки, а чуть левее, в темноте, старый тутовник у обочины. Двенадцать лет назад машина матери слетела с дороги именно там и врезалась в этот тутовник. Дерево выжило. Мать нет.

Каждую ночь он находил глазами фонарь. Потом тутовник. Потом стоял, пока не начинало светать.

А в эту ночь, левее, ближе к городу, на равнине горело место, где три дня назад умер Йусуф.

* * *

Ему позвонил Джихан. В половине второго ночи. Барыш не спал, он вообще мало спал.

— Брат. — У Джихана дрожал голос. — Брат, приезжай. На нусайбинской дороге. Йусуф.

Он гнал машину так, что на поворотах заносило. Нашёл их по мигалкам. Скорая, жан-дармы, чужая белая машина в кювете, смятая, с выбитыми фарами. И мотоцикл. То, что от него осталось.

Йусуф лежал на асфальте, накрытый курткой какого-то жандарма. Барыш отбросил куртку. Встал на колени. Взял его голову в ладони. Лицо было целое, чистое, только на виске кровь, и глаза открыты, и в них отражались синие огни. Двадцать лет. Барыш учил его плавать в водохранилище, держал за пояс, а мальчишка визжал и брыкался. Барыш подарил ему этот мотоцикл на день рождения, и бабушка неделю с ним не разговаривала.

Он не помнил, как порезал руку. Потом ему сказали: схватился за обломок крыла мотоцикла, когда пытался поднять Йусуфа, и не отпускал. Врач в скорой зашивал ему запястье и что-то говорил, а Барыш смотрел на белую машину в кювете. Там на заднем сиденье санитары держали парня с разбитой головой. Парень кричал. Звал кого-то. Маму. Или сестру.

— Это он, — сказал Джихан. Стоял рядом и курил, и сигарета прыгала в пальцах. — Это измирский. Говорят, пьяный был. Летел как бешеный.

Пьяным парень не был. Это выяснилось утром, анализ показал ноль. Но слово уже ушло по городу, и вернуть его было нельзя.

* * *

Похороны были в тот же день, до заката, как велит закон. Барыш нёс гроб первым, на правом плече. Гроб был лёгкий. Слишком лёгкий для двадцати лет.

На кладбище, у ямы, стояла тётя Зехра. Она не кричала, как кричали другие женщины. Не рвала на себе платок. Стояла прямо, как столб, и смотрела на Барыша. Только на него.

Когда засыпали землёй, она подошла к нему. Встала совсем близко. От неё пахло розовой водой и бессонницей.

— Ты будешь агой, — сказала она тихо, чтобы никто не слышал. — Мой сын в земле. Что ты сделаешь?

Он не ответил. Она и не ждала ответа. Повернулась и ушла, и с тех пор не сказала ему ни слова.

А вечером, в конаке, когда соседи шли с соболезнаваниями и двор был полон людей, Джихан сел рядом с ним на ступенях галереи и положил ему руку на плечо. Тяжёлую, тёплую, братскую.

— Я знаю, что ты думаешь, — сказал Джихан. — Думаешь, бабушка решит. Старейшины решат. А они решат по-старому, брат. Тебе этого не надо. Ты из Анкары, ты образованный. Ты не будешь стрелять в мальчишку на больничной койке.

— Не буду.

— Вот. — Джихан вздохнул. — А люди скажут: Шахиноглу размякли. Внук у них погиб, а они утёрлись. И кто тогда будет нас слушать? На границе, на базаре, в Диярбакыре?

Барыш смотрел на гранат во дворе. На нём уже краснели бока плодов.

— А сестра его, говорят, уже здесь, — продолжал Джихан задумчиво. — Прилетела. Ходит по больнице в джинсах, с голыми руками. С Сулейманом шепчется. Торгуется, наверное. Эти измирские всё умеют посчитать.

Барыш тогда промолчал. Он вообще больше молчал, чем говорил. Джихан говорил за двоих, так было всегда, с детства. Джихан был старше на три года, учил его курить за сараем и врать бабушке. Когда умерла мать, Джихан два месяца спал у него в комнате, на полу, чтобы Барыш не оставался один.

А потом пришла она. Встала посреди двора. Сказала: «Я согласна».

И бабушка отдала её ему.

Как платят долг. Как отдают в уплату овец или кусок земли. Женщину. Живую. Бабушка посмотрела на неё, взвесила, оценила и положила ему в руки, не спросив. И весь двор это видел. Старики, соседи, Джихан. Все видели, что у Шахиноглу теперь вот так берут за кровь.

Барыш ненавидел это. Ненавидел обычай, который был старше этого дома. Ненавидел бабушку за то, что она его вспомнила. И её, эту девчонку, ненавидел за то, что вышла. За то, что дала им это сделать. За то, что сам он, когда имам спросил его, промолчал так долго, а потом всё-таки сказал «согласен», потому что бабушка смотрела, и весь род смотрел, и слово Шахиноглу нельзя было взять назад.

Он не тронет её. Не скажет ей ни одного лишнего слова. Она поживёт в этой комнате, как в гостинице, и через неделю, самое большее через две, сбежит. Измирские не выдерживают здесь. Жара, камень, тишина, бабушка. Сбежит, и Озана её никто не тронет, потому что бабушка дала слово, а бабушка слово держит. Долг будет закрыт её побегом.

Так он решил.

Он вернулся с крыши в комнату перед рассветом. Она лежала на краю кровати, одетая, поверх покрывала, лицом к стене, и он по дыханию понял, что она не спит. Притворяется. Плечи напряжены, кулак прижат к камню. Он лёг на свой ковёр и тоже притворился.

Под утро, в серой мути, когда из долины потянуло холодом, ему опять пришла мать. Так бывало часто, в этот час, между сном и явью.

Мать звонила ему в Анкару за два дня до той ночи. Он сидел в общежитии над чертежами моста, злой, не выспавшийся, а она говорила быстро и весело, слишком весело для неё.

— Оглум. Сынок. Ты потерпи немного. Скоро всё будет по-другому. Я тебе потом расскажу.

— Что по-другому, анне?

— Потом. — Она засмеялась, и он услышал, как рядом пищит Нурхан. — Ты ешь там? Ты похудел, я по голосу слышу.

Через два дня она позвонила снова, поздно вечером. Он был в кино с однокурсниками. Увидел на экране «Анне», сбросил. Подумал: перезвоню утром.

Утром позвонила бабушка.

Двенадцать лет он помнил, как светилось на экране это слово. Четыре буквы. Он нажал красную кнопку большим пальцем и сунул телефон в карман, а на экране шёл какой-то фильм про погоню, и все смеялись.

Он так и не узнал, что она хотела сказать.

* * *

Утром он спустился во двор рано, к первому чаю.

Солнце ещё не перевалило через крышу, и двор лежал в синей тени. Пахло влажным камнем, фонтан журчал. Кухня уже проснулась, оттуда несло дымом и тмином. Женщины пекли хлеб.

Через двор, шлёпая тапками, пробежала Нурхан с двумя стаканчиками чая на блюдцах. Одной рукой придерживала платок, другой несла чай и не пролила ни капли, она с семи лет так бегала. Увидела брата у лестницы, сделала большие глаза, мол, не мешай, и понеслась дальше, к восточной галерее.

Барыш посмотрел, куда она бежит. Сестра никому не носила чай. Даже бабушке. Даже ему.

Он увидел её сразу.

Она стояла у восточной галереи, у третьей арки, той самой, над которой резьба. Каменная лоза, виноград и гранаты, сплетённые в узор. Резьбе было лет триста. По ней шла трещина, от левой пяты арки к замковому камню, чёрная, извилистая, как молния. Каждую весну дядя Махмут замазывал её раствором, и каждую осень раствор выпадал.

На ней были джинсы и длинная белая рубашка с закатанными рукавами. Волосы заплетены в косу, толстую, тёмную, до лопаток. Голова не покрыта. Босые ноги в сандалиях, на щиколотке тонкий браслет.

Она гладила камень.

Барыш остановился в тени у лестницы. Она его не видела.

Она гладила резьбу медленно, кончиками пальцев, как гладят спящего. Вела по лозе вверх, по каждому завитку. Остановилась на трещине. Приложила к ней ладонь целиком. Закрыла глаза.

На выступе у её локтя остывали два стаканчика чая, которые принесла Нурхан. Сама Нурхан сидела на ступеньке рядом, обхватив колени, и смотрела на невестку снизу вверх, приоткрыв рот.

По другую руку от невестки стоял дядя Махмут. Старик был в своём вечном пыльном пиджаке, с мастерком в руке, и с ведром раствора у ног. Он смотрел на неё, задрав седые брови, и молчал.

— Нельзя её замазывать, — сказала она, не открывая глаз. Голос у неё был чистый, низковатый для девушки. — Вы её цементом. Цемент твёрже камня. Он не дышит. Камень под ним потеет, и соль его ест изнутри. Каждый год трещина будет шире.

— А что делать? — Махмут повернул к ней здоровое ухо. — Говори громче, кызым, я с этой стороны глухой.

Она открыла глаза, обошла старика и встала справа, со стороны здорового уха. Барыш заметил это. Она поняла с первого раза.

— Расчистить, — сказала она громче. — Всё, что вы туда набили, вынуть. Аккуратно, по крошке. Промыть. Потом известь с каменной пылью, из этого же камня. Чтобы цвет был тот же и чтобы дышал. И штырь, вот здесь, внутри. Медный или из нержавейки. Чтобы держал.

— Это месяц работы, — сказал Махмут.

— Да.

— Кто ж такое делает? Замазал, и стоит.

— Он не стоит. — Она снова положила ладонь на трещину. — Он болеет. Трещину надо лечить, дядя Махмут. Как рану. Тогда она срастётся. Замазанная рана гниёт.

Старик долго смотрел на неё. Потом поставил ведро с раствором на землю, отодвинул его ногой подальше, крикнул.

— Ты откуда такая?

— Из Измира. Архитектор. Реставратор. — Она улыбнулась ему, впервые за все эти дни, и Барыш увидел, что улыбка у неё быстрая и немного кривая. — Почти. Диплом весной защитила.

— Аллах Аллах, — сказал Махмут. — Камень знает.

Она засмеялась. Тихо, неуверенно, будто забыла, как это делается.

Барыш не заметил, как стиснул перила лестницы. Повязка на запястье натянулась, и шов отозвался тупой болью.

Он отвёл глаза.

На галерее второго этажа, в арке, прямо над ним, стояла бабушка. В чёрном, с чётками в руке. Она смотрела вниз, во двор, на девчонку у арки. Давно, наверное, стояла.

Барыш поднялся к ней по лестнице. Встал рядом. Они оба молчали, и чётки щёлкали, и внизу девчонка что-то объясняла Махмуту, показывая руками, как будет держать штырь.

— Сбежит, — сказал Барыш.

Бабушка не ответила. Щёлк. Щёлк. Светлые глаза её не мигали.

— Через неделю, — сказал он. — Самое большее через две.

— Посмотрим. — Голос у бабушки был сухой, как зерно в мешке. — Махмут.

Она не повысила голоса. Старик внизу услышал её, хотя был глух на одно ухо, он всегда её слышал. Задрал голову.

— Восточное крыло, — сказала бабушка. — Ты говорил, рушится.

Махмут опустил мастерок. Девчонка у арки замерла, и Барыш увидел, как она тоже подняла голову, и солнце, только что перевалившее через крышу, ударило ей в лицо.

— Рушится, Хатидже-ана. Потолок в большой комнате провис. Балки сгнили. Ещё зиму не простоит.

Барыш повернулся к бабушке. Он понял, что она скажет, на полвздоха раньше, чем она открыла рот, и почувствовал, как холодеет внутри.

— Ана. Нет.

Чётки остановились.

— Пусть работает, — сказала Хатидже-ана, глядя на девчонку внизу. — Закрытое крыло рушится. Ключ дам. — Она помолчала. — Посмотрим, сколько она выдержит.

Глава 4. Хлеб

Ключ ей так и не дали.

Прошла неделя. Хатидже-ана сказала своё слово с галереи и больше к нему не возвращалась. Ключ от восточного крыла висел у неё на поясе, на шнурке, вместе с чётками, и Хазал видела его каждый день: железный, длинный, с узорной бородкой. Он покачивался при ходьбе и тихо стукался о бусины.

Хазал не просила. Она ходила вдоль закрытых дверей восточной галереи, гладила стены и записывала в блокнот: «Северо-восточный угол, вертикальная трещина, раскрытие до двух сантиметров. Карниз отслоился. Следы протечки над третьим окном». Рисовала. Считала. Звонила в Измир преподавателю, спрашивала про известь. По вечерам звонила маме.

— Ты ешь? — спрашивала мама.

— Ем.

— Он тебя не обижает?

— Он со мной не разговаривает, анне.

Мама молчала, и в трубке шумело море.

— Это лучше, — говорила она наконец. — Пусть пока так.

Барыш и правда не разговаривал. Он уходил на рассвете, возвращался ночью, ложился на свой ковёр у окна, отворачивался к стене. Ночью поднимался на крышу. Хазал больше не ходила за ним. Она лежала и слушала его шаги над головой, пока не засыпала.

* * *

В четверг её позвали к тандыру.

Позвала Фатма-ана, кухарка, маленькая, сухая, как корень, старше всех в доме после хозяйки. Она говорила по-турецки плохо, смешивая с курдским, и называла Хазал «кызым» с первого дня, будто так и надо.

— Иди. Учись. Невестка должна хлеб.

Тандыр стоял в кухонном дворике за аркой, вкопанный в землю, глиняный, широкий, похожий на огромный кувшин без дна. Из его горла поднимался жар, дрожал над землёй прозрачной водой. Вокруг на низких скамеечках сидели женщины. Пять, шесть. Месили тесто в медных тазах, раскатывали скалками, перебрасывались словами. Пахло дымом от виноградной лозы, мукой и тмином, который добавляли в тесто горстями.

Когда Хазал вошла, все замолчали.

Женщина в зелёном платке, та самая, с галереи, подняла голову и улыбнулась. Улыбка была красивая и холодная.

— Гостя пришла. Садись, ханым. Покажи нам, как в Измире пекут.

Хазал села на свободную скамеечку. Фатма-ана сунула ей в руки комок теста, тёплого, живого, мягкого, как щека ребёнка.

— Вот так. Руками. Тонко.

Хазал раскатала, как показали. Лепёшка вышла кривая, толще с одного края. Женщины переглянулись.

Чтобы налепить тесто на стенку тандыра, нужна была подушечка, круглая, стёганая, рапата. Фатма-ана объяснила жестом: кладёшь лепёшку на подушку, наклоняешься над жаром и шлёп, к стенке, одним движением. Подушку Хазал не дали. Женщина в зелёном держала её у себя на коленях и смотрела невинно.

— Ой, одна у нас, — сказала она. — Ты рукой попробуй. Мы в детстве рукой.

Хазал понимала, что это неправда. Она видела, как переглянулись остальные. Но она взяла лепёшку на ладонь и наклонилась над тандыром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.